Переводы

Бруно Латур

Политика объяснения: альтернатива

Из пепла рефлексивистов возродится феникс[1]
(йоркширская пословица)

Нередко утверждают, что социологи-релятивисты рубят сук, на котором сидят, поэтому проблема рефлексивности лежит в самом основании социальных исследований науки[2] [Woolgar, 1982, 1983; Hollis, Lukes, 1982; Ashmore, 1985; Lawson, 1985]. Они предложили социально объяснить поведения ученых-естественников, и в результате их собственным объяснениям никто не верит. Аргументы релятивистов, примененные к ним самим, аннулируют их же утверждения. В сущности, их аргументация оказывается самопротиворечивой или, по крайней мере, впутанной в своего рода апорию, вроде знаменитого «все критяне — лжецы», — апорию, от которой они могут спастись лишь бесконечным самокопанием, опасным солипсизмом, безумием и, возможно, смертью.

Обвинение в самопротиворечивости

Критика, направленная против работ последних десяти лет в русле социальных исследований науки, подразумевает следующее.

Бруно Латур — социолог, антрополог, философ. Один из создателей акторно-сетевой теории. Профессор Парижского института политических исследований.

Перевод выполнен по изданию: *Latour B.* The Politics of Explanation: An Alternative // Knowledge and Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Knowledge/S. Woolgar (ed.). London: Sage, 1988. P. 155–177.

1 В оригинале Латур обыгрывает фамилию Малкольма Эшмора, созвучную слову ash, «пепел»: «From more ashmore the phoenix will rise». — *Примеч. перев.*

2 «Социальные исследования науки» — общее обозначение подходов, изучающих влияние социальных, политических и культурных факторов на производство научных фактов. Так Латур обычно обозначает исследования эдинбургской (Д. Блур, Б. Барнс, Д. Маккензи) и батской (Г. Коллинз, Т. Пинч) школ социологии научного знания. — *Примеч. перев.*

Сила (естественных) наук основывается не только на том, что им удается войти в контакт с внечеловеческими объектами (неважно, сколько медиаций для этого понадобилось), но и на том, что они *не* ограничены человеческой, исторической или локальной точкой зрения. Этому идеалу должны подражать социальные науки, что они и пытались делать на протяжении своей истории. Таким образом, требовать от социальных наук изучать *науки* естественные — или, того хуже, требовать изучать самих себя — логически, морально, политически и даже эстетически невозможно, так как это означает отказ от единственной гарантии и источника определенности, которую дает не-локальный, не-исторический, не-человеческий контакт с объектами. Небо рухнет на головы, если его не подпирают хотя бы несколько более прочных опор, чем наши слабые силы или силы наших контингентных, локальных и исторических обществ.

Самопротиворечивость — это так плохо, что если кого-то обвиняют в том, что он противоречит самому себе, то это означает конец всем его или ее серьезным притязаниям. Принцип непротиворечивости необходим для всех легитимных объяснений и в гуманитарных, и в естественных науках, так же как и в повседневной жизни в целом.

Социально объяснять знание (как в гуманитарных, так и в естественных науках) — значит аннулировать или, по крайней мере, ослабить соответствующие утверждения. Если кого-то можно обвинить, что он находится под влиянием социальных факторов, это значит, что его или ее больше не нужно принимать всерьез [Barnes, Bloor, 1982].

Предполагается, что социолог науки релятивистского толка нечто социально объясняет, поскольку от него или нее этого и ждут. «Нечто» включает в себя бесконечно длинный перечень объектов, которые признаются не-социальными; [прилагательное] «социальный» указывает на длинный, но конечный перечень элементов, связывающих вместе мужчин и женщин. Социальное объяснение имеет место, когда один элемент из списка объектов (который ученые-естественники «ошибочно» считают «единственно объективным») соотносится с элементом из списка социальных факторов или заменяется им. Это отношение является отношением типа «один-ко-многим», а не «один-к-одному», т. е. *одни и те же* социальные факторы используются для объяснения многих естественных и объективных элементов (см. ниже).

Давать *объяснение* (в естественных или социальных науках) по определению хорошо, поэтому обвинение, что кто-то не дает объяснения, ведет к прекращению спора. Оппонент просто рассказывает истории и может быть остановлен простым вопросом: «И что?».

Ответ предполагает доказательство, что он или она делает *нечто большее*, чем просто рассказывает истории, что он или она на самом деле еще и предлагает некоторое объяснение.

Все сказанное выше неявно подразумевает следующее: все ищут того, кто — или то, что — несет *ответственность* за положения дел. Таким образом, любая попытка нечто объяснить, влечет за собой «обвинение». Выдвинутое против социологов-релятивистов обвинение, что они противоречат самим себе, является зеркальным отражением обвинения, выдвинутого социологами против ученых-естественников, которые, как утверждается, «ошибочно» полагают, что имеют дело «только лишь» с перечнем объективных элементов (рис. 1).

Чтобы понять важность и место рефлексивности в нашей исследовательской области, а затем определить нашу собственную стратегию[1] объяснения, необходимо сначала подвергнуть критике каждый из основанных на здравом смысле аргументов, которые подразумевает обвинение в самопротиворечивости.

1. Социологи-релятивисты не рубят сук, на котором сидят, потому что ни они, ни другие там не сидят и никогда не сидели: сила любой науки и, по сути, любой аргументации никогда не основывалась на не-локальных, не-человеческих и не-исторических союзниках. Отрицание рациональности не означает, что небо рухнет нам на головы (как полагали мои галльские предки), потому что небо подпирает множество других более прочных опор.
2. Принцип не-противоречивости отнюдь не является необходимым условием всякого объяснения (будь то в естественных или социальных науках). Напротив, базовый элемент антропологии науки — принцип *перевода* [Callon, 1986; Latour, 1987, 1988] превращает идею не-противоречивости в запоздалый конечный продукт научной практики.
3. Социально объяснить нечто не имеет ничего общего с ослаблением или аннулирование определенной позиции при условии, что...
4. ...ясно дается понять, что понятие так называемого социального объяснения полностью пересмотрено. Социальное объяснение больше не следует рассматривать как замену

1 Латур разводит понятия «politics», переведенное, как «политика», и «policy», которому был дан перевод «стратегия». С точки зрения исследователя, для того чтобы предложить новую стратегию объяснения, необходимо исходить из некоторой политики — демократии наук и технологий, которая противопоставлена Латуром иной — редукционистской, объяснительной политике, которую можно назвать научным милитаризмом. — *Примеч. ред.*

нескольких элементов в бесконечном перечне натуральных объектов одним или двумя факторами из списка социальных объектов.

5. Это в свою очередь возможно, если мы откажемся от идеи, что предлагать объяснение полезно для здоровья и по определению лучше, чем «просто рассказывать истории».
6. Это в свою очередь становится возможным только при условии, что обвинительный процесс и поиск тех, кто несет ответственность за развитие социальных наук, будет остановлен.

Политика объяснения

Чтобы подвергнуть критике понятия, на которых базируются обвинения в самопротиворечивости, мы сначала должны дать определение объяснению. В простейшей форме (рис. 1) оно означает установление некоторой связи между двумя списками, один из которых включает в себя набор объясняемых элементов (B), а другой — перечень так называемых объясняющих элементов (A).

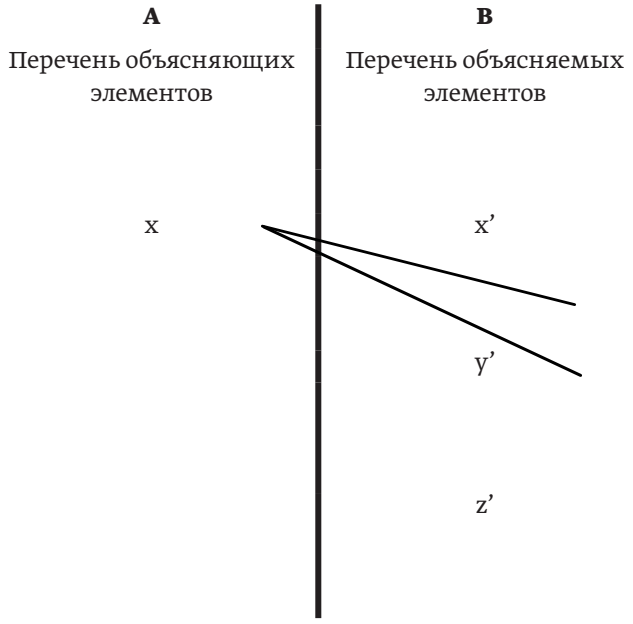


Рис. 1. Два перечня: экспланансы и экспланандумы[1].

1 Научное объяснение состоит из двух элементов — экспланандума и эксплананса. Экспланандум — объясняемый факт. Эксплананс — совокупность положений, посредством которых дается объяснение. — *Примеч. ред.*

Принято считать, что если имеет место связь вида один-к-одному, то ничего не объясняется, так как в одном списке столько же элементов, сколько в другом. Поэтому говорят, что объяснение дано только тогда, когда *более чем один* элемент в списке B соотносится с одним элементом списка A. Политика объяснения в общем виде может быть описана следующим образом: если вы владеете элементом *x* из списка A, вы также овладеваете элементами *x′*, *y′* списка B. Это общее определение власти, понимаемой как в политическом, так и в логическом смысле. Следствием того, что один элемент «владеет» несколькими, является ощущение силы, экономии и эстетического удовлетворения. Один элемент может «заменить», «представить», «символизировать» все остальные элементы, которые на деле стали второстепенными, дедуцируемыми, подчиненными или незначительными.

Это простое определение позволяет нам измерить *власть объяснения*[1]. Объяснение становится более властным посредством соотнесения большего числа элементов списка B с одним элементом списка A. Эта шкала позволяет калибровать изменения объяснительной власти (рис. 2).

Максимум на этой шкале устанавливается, когда вы можете сказать, что все элементы списка B, включая те, которых еще нет, могут быть *дедуцированы* из одного элемента списка A. В этом случае владение элементом списка A является *in potentia*[2] владением всеми элементами списка. Традиционно считается, что математическое доказательство предлагает этот, наилучший вид объяснения. Вера в существование доказательств и дедукции во многом объясняет энтузиазм, характерный для классической эпохи.

---

1 Решение переводить «power of an explanation» и «powerful explanations» как «власть объяснения» и «властные объяснения», а не более традиционно как «сила объяснения» и «сильные объяснения», мотивировано стремлением акцентировать попытку Латура говорить об эпистемологии на языке политической теории. Перевод «сильное объяснение» зарезервирован для случая, когда Латур использует выражение «strong explanation». — *Примеч. перев.*

2 «In potentia» (*лат.*) — потенциально. Учитывая, что «potentia» в латинском языке означает «власть», Латур стремится подчеркнуть, что, с одной стороны, сугубо научное на первый взгляд понятие потенциальности всегда отсылает нас к порядку власти, а с другой — что всякий властный порядок основывается на самонадеянной претензии на то, что ему принадлежит потенциально (in potentia), но никак не может принадлежать действительно (in actu). См. об этом: *Latour B.* Irreductions // Latour B. The Pasteurization of France Cambridge, MA: Harvard University Press. 1988. P. 158–175. — *Примеч. перев.*

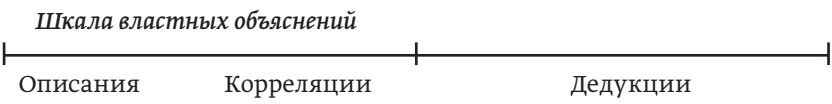


Рис. 2. Шкала объяснительной власти.

Центр шкалы объяснительной власти предполагает утверждение, что несколько элементов списка B часто (всегда, обычно, в значительной степени) связаны друг с другом. В этом случае ни один из элементов списка A не может заменить элементы списка B. Можно, однако, внести в список A постоянную связь, выявленную между элементами списка B. Колонку A, таким образом, образует список устойчивых корреляций. Вера в возможность существования различных структур, корреляций, статистических законов не вызывает столь сильного восторга, как былая вера в дедукцию, но она лучше приспособлена к нашей скептической эпохе. То, что можно назвать разочарованным сциентизмом, просматривается в большинстве естественных и во всех гуманитарных науках (если не считать этнографии, экзегетики и психоанализа).

Другое крайнее значение шкалы объяснительной власти — ситуация, когда дедукция или корреляция не могут быть установлены. Элементы списка A являются простым повторением элементов списка B, упорядоченных и подытоженных таким образом, что в некоторых практических целях владение списком A является почти эквивалентным владению списком B. Этот вид объяснения, как правило, обладает литературными чертами *истории* (story). Это то, что называется «описанием» и нередко ассоциируется с работой историков.

Такой рассказ об объяснениях[1], конечно, хорош, однако, если не считать социологического использования слова «власть», он все еще остается на уровне классических эпистемологических дискуссий. Чтобы пойти дальше и определить нашу собственную стратегию объяснения, необходимо понять, почему два списка существуют. Иначе говоря, почему нам понадобилось что-либо объяснять? В какой особой ситуации объяснение необходимо, и когда властное объяснение представляется по определению лучшим, чем слабое объяснение?

Сильное объяснение становится необходимым, когда кто-то хочет *действовать на расстоянии* [Latour, 1987]. Если вы в ситуации[2] (setting)

1 Здесь и далее по тексту «account» переводится как «рассказ», чтобы сохранить, терминологическое отличие от «description», «описание» и «story», «история». — *Примеч. перев. и ред.*

2 «Setting» отсылает не только к «объективной» ситуации во внешнем мире, существующей независимо от текста, но также имеет значение времени

x′, вам не нужно ее объяснять — практики и слабых рассказов будет достаточно. Если вы удалены от ситуации и безразличны к ней, вам также не нужно ее объяснять — практических действий в новой ситуации *x* будет достаточно. Если вы вышли из ситуации *x′* и помните, как в ней находились, вам все еще не нужны властные объяснения — куда уместнее рассказать историю. Вам понадобится сильное объяснение, если вы вышли из ситуации *x′*, но все еще хотите влиять на нее. Почему? Потому что теперь вы должны быть в ситуациях *x* и *x′* одновременно. В ситуации *x* вам требуется владеть некоторыми элементами или свойствами ситуации *x′*. «Информация» — это слово нередко используют, чтобы описать все элементы *x′*, которые можно мобилизовать, переместить, аккумулировать в *x*. Информация — это промежуточное звено, медиация, переводчик, *metaxu*[1] — то, что постоянно курсирует между присутствием *x′* и его отсутствием.

Греки по своему обыкновению предлагают лучшую мифологию действия на расстоянии с помощью тщательно сконструированных форм. Именно Фалесу приписывают изобретение геометрии, когда он, не желая взбираться на пирамиду Хеопса, «просто» измерил тень крепко воткнутой в землю палки [Serres, 1983]. Его теорема (сама суть властных объяснений) открыла возможность владеть всеми пирамидами (существующими, теми, которые будут построены, и теми, которые не будут построены никогда) посредством несложных вычислений. То, чем мы так восхищаемся в греческом чуде, — это переворот отношений власти: самые слабые, крошечные люди, у которых есть только тени и бумажные формы, становятся сильнее древних могучих египтян с их тяжелыми каменными пирамидами. Владеть формами равносильно тому, чтобы владеть всем остальным. Платонизм в многочисленных проявлениях является философией фантастического воодушевления, вызванного инверсией первоочередности «теней» и «вещей». Но этот же процесс работает и в случае более слабых объяснений. Теоремы — не единственная техника, обеспечивающая подобные перестановки. Все науки определяются, прежде всего, типом элементов, который извлекается из ситуаций, затем мобилизуется, накапливается, комбинируется

и места действия пьесы или романа, созданных внутри текста. Об этом втором значении следует помнить, когда Латур во второй части статьи говорит о том, что и научные и художественные тексты решают одни и те же проблемы. — *Примеч. перев. и ред.*

1 «Metaxu» (*др. греч*) — нечто среднее. Это понятие появляется в диалоге Платона «Пир», когда Диотима рассказывает Сократу об Эроте как посреднике между богами и людьми. См.*: Платон.* Сочинения: в 4 т. Т 2/Под ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007. С. 131–146 (201d — 212b). — *Примеч. перев.*

и демонстрируется. Ископаемые окаменелые останки, чучела животных, фотографии, трофеи, анкеты — все, что решает проблему действия на расстоянии, заполняет путем производства информации промежуток между присутствием *x′* и его отсутствием [Latour, 1986; Latour, de Noblet, 1985].

Определение объяснения как *меры расстояния между контекстами* имеет три важных следствия, которые я буду использовать в дальнейшей аргументации. Во-первых, оно создает различение между практикой, с одной стороны, и знанием — с другой: практика становится тем, что люди делают в ситуации, на которую они хотят повлиять; знание становится тем, что мобилизовано в ситуации *x*, чтобы повлиять на другую ситуацию. Оно также устанавливает различение между формой и содержанием. Форма становится тем, что можно перенести из *x′* в *x*; материя — то, что не может вынести такого путешествия. Наконец, оно проводит разделение между «внешним миром» и нашей «интерпретацией» того, что мир собой представляет. Рационалисты и релятивисты бесконечно спорят о том, должны ли наши идеи соответствовать миру «там снаружи»[1], даже не задаваясь простым вопросом: как так получилось, что мир, прежде всего, «там *снаружи*», вместо того, чтобы быть «здесь *внутри*»? Ответ достаточно прост. Проблема соответствия между мобилизованными формами и ситуациями, из которых они были извлечены, становится решающей только для тех, кто хочет действовать на расстоянии. Если вы не находитесь на расстоянии или не хотите влиять на другие ситуации, идея соответствия исчезает, как и проблема референта.

Если же вы хотите в ситуации *x* владеть не только *x′*, но и многими другими ситуациями — *x″* и так далее, вам потребуются все более властные объяснения. Эта потребность не является результатом психологической, политической или метафизической жажды власти, она следует из решения практических задач действия на расстоянии. Поскольку мобилизованные формы не являются собственно мобилизованными ситуациями, для того, кто владеет формами, вполне возможно не владеть ничем, кроме теней. Поэтому необходимо сделать что-то еще, чтобы в ситуации *x* (вновь) обрести превосходство, утраченное в результате пребывания вне *x′*, *x″* и так далее. Иначе говоря, понятие властного объяснения нельзя отделить от постепенного учреждения того, что я назвал *центрами вычислений,* предназначенными для действия на расстоянии. Два

1 Словосочетание *«out there»* в работах Латура носит терминологический характер и отсылает к полаганию внешнего мира (мира за пределами платоновской пещеры), онтологический статус которого якобы не зависит от тех связей, которые с ним установил и поддерживает познающий/наблюдатель. — *Примеч. перев.*

вышеупомянутых списка и их разнообразные взаимосвязи являются эпистемологическим отображением практической деятельности — *сетевого строительства*[1], которое заключается в том, чтобы связать как можно большее число ситуаций с как можно меньшим числом элементов при помощи как можно меньшего числа посредников [Latour, 1986, 1987].

Эту проблему не следует рассматривать как сугубо формальное, техническое, экономическое, эстетическое или политическое предприятие. Одни и те же задачи должны быть решены вне зависимости от того, требуется ли создать новую теорему, телефонную сеть, торговый путь, изящную теорию или империю. Точнее, ни одно из этих предприятий невозможно без попутного вовлечения в другие. Вот почему нам в наших исследованиях сетевого строительства потребовалось заменить отдельные политические, экономические, технические и интеллектуальные задачи общим вопросом, а именно — как строить центры вычислений и протяженные сети [Hughes, 1983; Callon et al. 1986]. Различия между сферами деятельности менее важны, чем возможность объединить усилия, чтобы перевернуть первоочередность и соотношение сил между центром и периферией.

Из такой точки зрения следует важный для настоящего рассуждения момент. Нет оснований полагать, что должен существовать список социальных элементов, обращаясь к которому, можно было бы объяснить элементы естественных наук отношением типа одно-ко-многим. Возможность же существования двух гомогенных списков, одного, состоящего из социальных элементов, а другого — из не-социальных элементов, надумана. Напротив, мы видим, как ситуации борются за то, чтобы стать центрами, мобилизуя все, что есть под рукой, и подкрепляя притязания как можно большим количеством ресурсов. Является ли этот [процесс] социальным, естественным или техническим? Пожелаем удачи тому, кто пытается вычленить подобного рода различения в хитросплетении, которое от распада удерживает именно то, что в одном центре собрано (associate) как можно большее число разнородных элементов. Конечно, социальные факторы тоже здесь присутствуют, но они — часть

1 «Network-building» здесь переводится как «сетевое строительство», а не как «построение сети», чтобы подчеркнуть амбивалентность понятия сети у Латура, которая отчетливее проявляется в более поздних работах. Сеть — это не только то, что строят, но и сам метод строительства. См. об этом подробнее: *Latour B.* On Actor-Network Theory: A Few Clarifications // Soziale Welt. 1996. Bd. 47. S. 369–372; *Latour B.* Reassembling the social: An introduction to actor-network theory. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 131. — *Примеч. перев.*

того, что нужно изучать, а не элементы, которые позволяют нам понимать. «Социальные факторы» — специфический продукт профессиональных социальных ученых, стремящихся учредить в своих институциях новые виды вычислений. Социологи пытаются различными способами определить то, что связывает нас вместе. Они называют это обществом и пытаются сделать так, чтобы без их определений не могли обойтись максимум людей, внедряясь для этого в максимум других профессий (бизнес, политику, академическую жизнь, журналистику, издательское дело и т. д.). Неважно, сколь интересна работа социологов, она не отличается по форме и цели от работы всех остальных, кто вовлечен в сетевое строительство. Другими словами, социальные науки — это часть проблемы, а не решение. Ожидать от них объяснения естественных наук — это почти то же самое, как ждать, что водораспределительные компании объяснят телефонные сети.

Главным следствием фокусировки внимания на центрах вычислений и многообразных практических способах, которыми они извлекают и комбинируют информацию, является твердый отказ от аргументации в терминах причины и следствия. Несмотря на сильную критику, которой подверглось понятие причины (заменившись более скромными модификациями, такими как корреляция, соответствие, структура, паттерн), где-то в глубине души у нас жива мысль, что история не закончена, если в заключении нет набора слов (концептов, утверждений), наделенных способностью запускать (порождать, влиять или производить) изложенные события или происшествия. Все споры о внутренних и внешних факторах основываются на возможности существования чего-то подобного «факторам» или «детерминантам». Даже те, кто скептически относится к возможности найти причину феномена (особенно в социальных науках), не оспаривают, что некоторые элементы (эксплананс) должны выступать в качестве причины, а другие (эксплананд) должны играть роль следствий. Всегда есть элемент трибунала в этих судебных разбирательствах, где устанавливают зоны ответственности, решают, кого обвинить, а кто останется невиновным. Причина всегда является в буквальном смысле законным основанием[1]; некоторые из них, как, например, капитализм даже стали в *cause célèbre*[2] [Girard, 1978].

1 Латур обыгрывает многозначность английского слова cause, которого обозначает не только причину, но и этимологически восходит к ряду терминов с юридической коннотацией — тяжба, законное основание, побудительный мотив. — *Примеч. ред.*

2 «Cause célèbre» (*франц.*) — громкое дело, нашумевший судебный процесс, или в буквальном смысле «знаменитая причина». Латур вновь играет

Само существование двух списков или двух перечней — причин и следствий — становится сомнительным, когда во внимание принимается работа по созданию центров вычислений. Парадоксально, но причина возникает как *следствие* расширения сетей и укрепления центров. Это превосходно показал Фернан Бродель [Braudel, 1985]. Вы не можете объяснить развитие мировой экономики, ссылаясь на какую-нибудь силу (например, капитализм), потому что эта причина сама по себе беспомощна, пока нет центров, способных в крупном размере наживать капитал на всем, что бы ни производилось и продавалось. Гетерогенная ассоциация множества элементов (которая якобы объяснена) — это именно то, что *в конечном счете* придает силу самому капитализму, который якобы дает объяснение. В философских терминах это значит, что причина (фактор, детерминанта, паттерн или коррелят) является итогом судебного разбирательства по поводу ответственности, в результате которого несколько элементов сети назначают движущей силу всего предприятия. На практике это во многом напоминает выборы представителей или, в зависимости от исхода, выдвижение обвинения против козла отпущения [Girard, 1978]. Вера в причины и следствие — это всегда в некотором смысле преклонение перед иерархической цепочкой или ненависть толпы, ищущей кого бы побить камнями.

Производство объяснения, по сути, представляет собой строительство империи; чем более властно объяснение, тем больше империя и прочнее материал, из которого она выстроена. То, перед чем мы преклоняемся во властных теориях, должно заставить нас преклониться и перед автострадами, многонациональными корпорациями, спутниковой связью, системами вооружения, международным банковским делом, банками данных. Если мы не преклоняемся перед этими достижениями, нет оснований использовать двойные стандарты и позволять «властным теориям» стоять особняком и быть единственно почитаемыми. То, что мы понимаем под властным объяснением в социальных науках, чаще всего является имитацией, упрощенной версии воинствующей интерпретации точных наук прошлого, когда они были слабейшими в политическом отношении и имели дело с самыми простыми объектами [Shapin, Schaffer, 1985; Prigogine, Stengers, 1979]. Подобным образом объяснили лишь несложные законы механики и астрономии, но философы науки сделали из этого *арах*[1] общее правило.

на двусмысленности слова cause, пришедшего в английский язык из французского. — *Примеч. перев. и ред.*

1 Арах (*франц.*) — гапакс — лингвистический термин для слова, встречающегося в каком-либо языке или корпусе текстов только один раз. — *Примеч. перев.*

Должны ли мы нечто объяснять?

Вопрос не в том, чтобы объяснить естественные науки посредством социальных, чтобы заменить «капитализм» «центрами вычислений», и не в том, чтобы заменить поиск причин построением империи. Это означало бы замену одного козла отпущения другим и сделало наши аргументы вновь уязвимыми для обвинения в самопротиворечивости. Как указывает Жирар [Girard, 1978], смысл в том, чтобы в целом отбросить обвинительный режим.

Существуют два способа демонстрации властных объяснений и, таким образом, два способа решения проблемы *расстояния* между ситуацией, которая предлагает объяснение, и ситуациями, которые подвергаются объяснению. Первый — общий для всех дисциплин: владей элементами списка А и дедуцируй: соотноси, производи, предсказывай, реорганизуй, комментируй или просвещай — как можно больше элементов списка В. Второй — только что был упомянут: *покажи работу* по извлечению элементов из списка В, *работу* по переносу их в список А, *работу* по составлению объяснений внутри А, *работу* обратного воздействия на В из А. Первый способ пытается упразднить расстояние, второй существует за счет него. В первом способе власть укрепляется, и представляемые элементы растворяются в своих представителях. Во втором способе власть ослаблена и исходные элементы целиком доступны обозрению. Первый способ редукционистский, так как владеть одним элементом списка А равносильно тому, чтобы владеть всеми элементами списка В. Второй я называю не-редукционистским или ирредукционистским, поскольку он *прибавляет* работу редукции ко всему остальному вместо того, чтобы вычитать все остальное, когда редукция осуществлена. Первый способ создает власть, т. е. впечатление, что обладание одним элементом подразумевает владение всеми другими in potentia. Второй создает то, что я называю градиентом силы [Latour, 1988, part II]. Иначе говоря, первый способ начинает с *эквивалентностей*, не объясняя, при помощи каких инструментов и какой метрологии эти эквивалентности получены. Второй способ начинает с переводов[1] и пытается представить работу по *установлению эквивалентности элементов*, создавая новые инструменты и поддержи-

1 «Перевод» (translation) — центральное понятие социологии Бруно Латура в 1980-х. Одно из классических определений звучит так: «Под переводом мы понимаем все переговоры, интриги, вычисления, акты убеждения и насилия, благодаря которым актор или сила захватывает (или добивается того, чтобы на нее возложили) полномочия говорить или действовать от лица другого актора или силы» [Callon, Latour, 1981, p. 279]. — *Примеч. перев.*

вая в строю длинные метрологические цепи. Другими словами, первая традиция обвиняет и распределяет зоны ответственности, в то время как вторая считает обвинения несправедливыми, потому что они всегда обращены на невинного козла отпущения. Первая стоит на стороне познающего, вторая — также и на стороне познаваемого.

Это различение дает понять, что социологи-релятивисты далеки от попытки соперничества с естественными науками, которые они изучают, от соперничества, которое, как мы видели ранее, дает основу для обвинения во внутренней противоречивости. Социальные исследования науки не являются ущербной породой науки, не способной предложить столь же властные объяснения, как в естественных науках. Ни одна наука, будь то естественная или социальная, никогда не предлагала такого рода властного объяснения. Все они, насколько могут, пытаются связать свои утверждения как можно большим числом способов с достаточным количеством элементов, чтобы установить эффективную двустороннюю связь с ситуациями, на которые они хотят воздействовать на некотором расстоянии. В этом деле социальные науки преуспели не меньше многих естественных.

Апория, с которой я начал, таким образом, полностью изменилась. Первый вопрос больше не звучит как: «Если вы не верите, что наука состоит из не-человеческих, не-исторических, не-локальных элементов, как можете вы, социологи-релятивисты, претендовать нечто объяснить?». Ни одно объяснение вне зависимости от абстрактности науки, властности режима, никогда не состояло из чего-то, кроме несоразмерного числа гетерогенных, исторических, контингентных элементов. *Мы не лишаем себя союзников*, когда показываем, что это — единственные союзники, которые когда-либо были на стороне точных естественных наук. Мы, гуманитарные и критические науки, располагаем теми же ресурсами, хотя, признаю, *в меньшем объеме*. Второй вопрос больше не звучит следующим образом: «Как вы можете, не впадая в противоречие, обращаться к социальным факторам, чтобы объяснять развитие естественных наук?». Социальные науки не являются резервуаром понятий и сущностей, из которого мы черпаем ресурсы. Они суть неотъемлемая часть деятельности, которую мы хотим изучить, часть нашей проблемы, а не ее решение. В ходе нашей работы мы необратимо изменили значение слова социальное. Поэтому на коварный с виду вопрос: «Что остается объяснить релятивисту?», есть единственно возможный ответ: «Все».

Смена формулировки, однако, не кладет конец проблеме самопротиворечивости. Теперь мы должны поставить новый вопрос,

этическую задачу, которая гораздо сложнее простой ловушки, в которую пытались загнать нас рационалисты. (Вопрос этот гораздо сложнее также потому, что мы задаем его сами себе.) Если работа по объяснению подобна построению империи, *должны ли мы* что-либо объяснять? Действительно ли мы хотим участвовать в сетевом строительстве? Хотим ли мы прибавить еще одну дисциплину и профессию к тем, что мы изучаем? Хотим ли мы предложить более властные объяснения, т. е. перенести властные отношения из изучаемой ситуации в изучающий центр вычислений? Жаждем ли мы власти и признания? Хотим ли мы имитировать этос и стиль науки? Хотим ли мы господствовать над учеными-естественниками, оценивая, объясняя и вынося суждения об их поведении? (Это не надуманный вопрос, поскольку по меньшей мере некоторые под-дисциплины, например, научная политика[1], экспертиза, менеджмент исследований и разработок, представляют нам средства для оценки и суждений, делая нас потенциально опасными.)

Ответ — «нет», но с некоторыми оговорками. Иначе говоря, отведя от своего проекта ложное обвинение в самопротиворечивости, я должен немедленно ограничить вновь обретенную свободу и выступить на этот раз не против рационалистов — они нам больше не противники, а против собственной профессии. Не следует стремиться к идеалу объяснения не только потому, что он недостижим, но и потому, что *он вообще не является желанной целью*.

Рисунок 3 поможет нам понять новую задачу. Дисциплины, которые мы изучаем, рассматриваются либо как мнимые, либо как научные. Наше собственное объяснение их развития можно также считать либо мнимым, либо научным. Четыре ячейки — четыре неприемлемых способа продолжать социальные исследования науки. Ячейки 2 и 3 соперничают в высокомерии. В первом случае все попытки изучать науку отклоняются как ненаучные, во втором — мы наделяем себя привилегиями, в которых отказываем изучаемым наукам. Вариант ячейки 1 топит все, включая себя, в циничной и насмешливой регрессии. Ячейка 4, наоборот, распространяет на все напыщенную, некритичную и научную веру в науку, заходя настолько далеко, что порождает монстра, известного как «науковедение» (science of science).

1 Комплекс законодательных и практических мер, направленный на контроль, руководство и ускорение научно-технологического процесса и согласование его хода с задачами развития страны. — *Примеч. ред.*

		Изучаемые дисциплины: мнимые	Изучаемые дисциплины: научные
Дать объяснение: Мнимое		1 Когерентное; анархистская версия; наш рассказ — вымысел и потому несерьезен	2 Некогерентное; наш рассказ смехотворен и не угрожает науке (версия, часто разделяемая учеными)
Дать объяснение: Научное		3 Некогерентное; наш рассказ привилегирован, поскольку социальная наука надежнее; асимметричный социологизм	4 Когерентное; сциентистская версия; нет угрозы науке

Рис. 3. Четыре неприемлемых способа заниматься социальными исследованиями науки.

Рефлексивность — но какая?

Попытаемся найти квадратуру круга: мы стремимся дать естественным наукам объяснение, которое не похоже на то, что обычно называют научным объяснением; при этом мы решительно отвергаем помощь социальных наук. Напротив, мы считаем их частью сетей, которые хотим объяснить. Мы пытаемся учредить пространство, которое находится ни над сетями, ни внутри них. Мы хотим описать и обнажить политику объяснения, не воспроизводя и не добавляя еще одну дисциплину к множеству тех, что уже борются за существование. Мы одновременно хотим быть *более* научными, чем науки, поскольку мы пытаемся не участвовать в их борьбе, и *менее* научными, поскольку мы не хотим сражаться их оружием. Мы в затруднительном положении, подобно чуждому насилия пацифисту, который, тем не менее, хочет быть сильнее воинствующего милитариста. Мы ищем, скорее, слабых, чем сильных объяснений, но все же хотим, чтобы слабые рассказы победили сильные...

Проблема столь трудна, что требует одновременного решения трех парадоксов. Первый парадокс является общим для всех письменных форм: как быть одновременно здесь (в ситуации *x*) и там

(в другой ситуации *y*)? Второй — общим для всех наук: как быть одновременно здесь (*x*), там (*y*) и *между ними*, управляя сетью, которая связывает обе ситуации? Третий — общим для всех текстов, которые пытаются избежать альтернативы между художественной литературой и наукой: как держаться золотой середины между *слишком большим* и *недостаточным* доверием читателей? Решение первого парадокса дало бы нам возможность писать истории; решение второго позволило бы нам оставаться учеными; решение третьего — открыло бы возможность создавать *рефлексивные* рассказы. Я использую слово «рефлексивный», чтобы обозначить любой текст, который учитывает собственное производство и таким образом устраняет вредное воздействия на читателей, состоящее в том, что тексту верят слишком много или слишком мало. Решение всех трех парадоксов сразу означало бы, что мы способны писать тексты, которые искусны, правдивы, не заставляют читателей верить в то, что сообщаемое не может содержать ошибки, и, тем не менее, интересны. Такие тексты, в сущности, упразднили бы различие между наукой и художественной литературой.

Чтобы развить альтернативную стратегию объяснения, давайте оценим преимущества и недостатки рефлексивности. Для этого я должен разграничить два типа рефлексивности, соответствующие видам вредоносных воздействий, которые хотят преодолеть писатели[1]. Метарефлексивность — термин, обозначающий попытку избежать того, чтобы читатели верили тексту, а инфрарефлексивность обозначает попытку избежать того, чтобы читатели *не* верили тексту.

Метарефлексивность

Для многих писателей главное вредоносное воздействие текста состоит в том, что читатели ему наивно верят. У читателей есть дур-

1 Решение переводить «writers» применительно к ученым как «писатели», а не «авторы», обусловлено необходимостью подчеркнуть то, что Латур не проводит априорного различия между научной и художественной литературой. И ученые, и авторы романов решают одни и те же проблемы при производстве текстов, различия между которыми не изначальны, но складываются постепенно вследствие того, что у этих текстов разные цели и аудитория. См.: Latour B. Science in Action. Milton Keynes: Open University Press. 1987. P. 25–75; ***Latour B.*** Powers of the Facsimile: A Turing Test on Science and Literature // Burn S. J., Dempsey P. (eds). Intersections: Essays on Richard Powers. Champaign: Dalkey Archive Press, 2008. P. 263–292. Кроме того, сам Латур в своем творчестве предпринимал отдельные попытки сблизить два типа литературы. См. Latour B. Aramis, or the Love of Technology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. — *Примеч. перев.*

ная привычка, говорят писатели, они тотчас обманываются всякой историей и позволяют себя убедить, что существует нечто «там снаружи», и оно является референтом текста и ему соответствует. Многие древние и современные писатели, желая отвлечь читателей от референта, пытались добавить рефлексивные элементы, которые функционировали в форме предостережений: не верьте мне, на карту поставлено нечто более важное.

Когда писатели пытаются переключить внимание читателя на *текст*, их называют «деконструктивистами» и часто ассоциируют с Жаком Деррида. Когда писатели пытаются направить внимание читателя на саму работу веры и осмысления, их иногда называют «этнометодологами», чей символ — Гарольд Гарфинкель. Деконструктивисты пытаются писать тексты, не ссылаясь на что-либо и не создавая впечатления присутствия или репрезентации. Этнометодологи стремятся к противоположному; они пишут тексты, которые в силу необходимости удалены от описываемой ситуации, но стремятся создать впечатление, что все же присутствуют — без деформации и переноса — там снаружи, в жизненном мире[1] своих субъектов. Стилистическая задача в обоих случаях схожа: сделать текст неудобочитаемым с тем, чтобы обычная двусторонняя связь между рассказом и референтом была прервана и приостановлена.

Претендуя на новизну и постмодернизм, эти авторы слишком часто забывают, что существует третий способ создавать рефлексивные тексты, который веками практиковался писателями, стремящимися направить внимание на самого читателя, на его собственную жизнь и судьбу. Это перенаправление удается многим религиозным текстам, в особенности Новому Завету, и подразумевает радикальный отказ от объяснения [Peguy, 1914; Latour, 1975]. Например, история о пустой могиле в Евангелие от Марка (Мк 16) не должна читаться как сообщение о далекой эмпирически существующей могиле в предместьях Иерусалима в канун Пасхи около 30 г. н. э., но как о читателе Евангелия и тех знаках, которые ему нужны, чтобы самому понять: Иисус жив, он воскрес. В ответ на нелепый эмпирический вопрос женщин: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» (Мк 16:3)[2] звучит ангельское наставление: «Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен». Хороший читатель подобного текста — это не тот, кто задает нелепые вопросы: «Что случилось *на самом деле*? Нашел бы я следы пустой могилы, если бы я по-

1 Феноменологическое понятие «жизненного мира» воспринято этнометодологией как интерсубъективный практический мир повседневности, в котором люди, исходя из «естественной установки» осмысливают действия и воспроизводят социальный порядок. — *Примеч. ред.*

2 В оригинале допущена ошибочная ссылка на стих Мк 16:5. — *Примеч. ред.*

ехал на то место в Иерусалим и провел раскопки?», но тот, который спрашивает: «Что происходит со мной сейчас, когда я слышу голос ангела? Иисус действительно больше не есть там — там снаружи. Вот что на самом деле имеет в виду ангел. Прекратите задавать нелепые вопросы. Он воскрес. Он жив». И в ходе этого процесса читатель становится писателем или комментатором, или проповедником *другого* текста — тем, кто трансформирует, переводит, украшает и дополняет непрерывную цепь комментариев. В течение сотен лет (до XVII в.) все усилия были направлены на то, чтобы сделать нормальное «прямолинейное» фактологическое прочтение Библии невозможным. Не удивительно, что, когда научно подготовленные экзегеты стали толковать Библию новым способом, большинство историй распались.

Я не уверен, что в отношении рефлексивности, перевода, изобретательности и ума постмодерные деконструктивисты могут сравниться с Евангелистам и Отцами Церкви. В сравнении с ними деконструктивисты пользуются очень малым числом инструментов. Их метарефлексивность достигается путем *прибавления* (как это я делаю сейчас) особых разделов о том, каким образом следует или не следует создавать тексты или дискурсы. Это то, что обычно называют методологией. В конечном итоге, единственный способ написать текст, который не рискует тем, чтобы в него наивно верили, — это писать методологически. Жуткие результаты такого подхода видны в трудах Деррида и Гарфинкеля. Если бы эта проза была просто непригодна для чтения, это было бы полбеды. Но в ней есть нечто похуже с их собственной рефлексивной точки зрения. Деконструктивисты и этнометодологи считают, что если принять достаточно методологических мер предосторожности, можно написать тексты, которые будут лучше (лучше в том смысле, что позволят решить задачу присутствия — отсутствия). Деррида действительно полагает, что благодаря трюкам, хитростям, ловушкам тексты, которые он пишет, являются более деконструированными, чем колонка журналиста в «Нью-Йорк Таймс», сообщающего о недавнем крушении самолета. Некоторые последователи Гарфинкеля действительно верят, что раз предприняты все методологические меры предосторожности, то мир, населенный компетентными членами коллектива, может быть представлен правдивее, чем в интерпретации такого классика социологии, как Роберт Мертон. Деррида полагает, что текст может избежать удела присутствия, а Гарфинкель, кажется, верит, что сообщение в конце концов может избежать удела отсутствия. За этими противоположными рефлексивными заявлениями стоит наивная и неукротимая вера в возможность написания более правдивых текстов. Восхитительно комичная докторская диссертация Малькольма Эшмора [Ashmore, 1985] высмеивает все претензии

на метарефлексивность, доводя их до предела. Как мы бы сказали по-французски «Plus réflexif que moi, tu meurs»[1].

Метарефлексивность основывается на идее, что самое вредоносное влияние текста состоит в том, что читатель наивно верит ему, некоторым образом устанавливая связь с референтом «там, снаружи». Рефлексивность, как полагают, должна противодействовать этому эффекту, делая текст непригодным для нормального потребления (часто это означает — непригодным для чтения). Тем самым принимается как данность, что читатели — наивные верующие; есть такая вещь, как нормальное потребление; люди легко верят тому, что они читают; верить всегда означает соотносить рассказ с референтом «там снаружи». Это очень наивный набор верований в наивные верования читателей. Я подозреваю, что этот постмодерный взгляд на то, что значит быть нововременным (modern), является результатом наивной и некритической интерпретации научного объяснения в целом. Опыт изучения научной литературы заставляет меня серьезно сомневаться во всех четырех предположениях [Callon et al., 1986]. Читателей куда труднее обмануть, они менее легковерны, более искусны в деконструкции и стремительны в создании вымысла, чем допускают писатели, которые высокомерно верят в то, что другие верят. Здесь мы должны «не преувеличивать экзотизм других»[2]. Научные тексты готовят себе куда более вероятную судьбу: читатели им *не* поверят или, того хуже, они никого не *заинтересуют*.

Однако самое эксцентричное верование, связанное с метарефлексивностью, возникает, когда вы изучаете самореференцию. Вулгар [Woolgar, 1988], например, считает, что этнографический текст Малиновского о том, как заниматься этнографией, рефлексивнее, чем этнографический текст, скажем, о балийцах. Более того, рефлексивность Малиновского может быть, с точки зрения Вулгара, наивным способом рассказать нам подлинную историю о том, как составить этнографический отчет. Поэтому он последовательно придумывает подлинно рефлексивный текст третьей степени.

---

1 «Plus réflexif que moi, tu meurs» (*франц.*) — ты скорее умрешь, чем станешь рефлексивнее меня. Латур перефразирует название комедийного фильма Филиппа Клэра «Plus beau que moi, tu meurs», «Ты скорее умрешь, чем станешь красивее меня», который вышел на экраны в 1982 г. Фраза является расхожим выражением, которое нередко обыгрывается в речи с заменой прилагательного. — *Примеч. перев. и ред.*

2 Латур цитирует работу Стивен Вулгара, опубликованную в том же сборнике, что и данный текст [Woolgar, Steve, 1988]. Reflexivity is the Ethnographer of the Text // Knowledge and Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Knowledge/S. Woolgar (ed.). p. 14–34. London: Sage. — *Примеч. ред.*

Согласно ему, Малиновский наивно полагал, что, будучи рефлексивным (на втором уровне), он избежит обвинений в собственной наивности в качестве рассказчика. Но Вулгар не хочет, чтобы мы поверили, будто третий уровень «подлинно» рефлексивен, и потому рад представить множество других ступенек на лестнице Иакова; ее верхушка теряется в облаках, но она не приносит бесконечных плодов. К несчастью, ни одно множество степеней, слоев, трюков Хофштадтера[1] не смогут снять простой семиотический аргумент. Текст о том, как Малиновский пишет о балийцах не более и не менее рефлексивен, чем текст Малиновского о балийцах, и не более и не менее рефлексивен, чем то, что говорят сами балийцы; а вулгаровская трактовка *n*-й степени всего вместе не более и не менее рефлексивна, чем любая другая трактовка в этой цепи. Почему же нельзя их расположить в виде кипы рефлексивных слоев? Потому что все они являются текстами или историями, опирающимися на *что-то еще*. Нет способа распределять тексты по слоям, потому что они все равны. Тексты, так сказать, живут в демократии, пока дело касается семиотики. Головокружение самореференции берет начало в наивном убеждении, что и в первом тексте (внизу), и во втором (наверху) присутствует *один и тот же* актор. Рефлексивисты, напротив, полагают, что когда в тексте *нет* автора в качестве одного из персонажей, он *менее* рефлексивен, чем когда автор есть, хотя с точки зрения семиотики, эти тексты суть два схожих способа строить высказывания [Greimas, Courtes, 1983; Bastide, 1985]. С семиотической точки зрения, роль, сыгранная балийцами в первом тексте, такая же, как в вулгаровской трактовке пятой степени. Трактовки не сидят друг у друга на закорках, а располагаются бок о бок.

Когда Вулгар показывает фотографию самого себя, пишущего подпись к этой же самой фотографии в статье о книге, посвященной наблюдению за наблюдателями, он, видимо, полагает, что поднялся на несколько витков рефлексивности над «наивной» и «непроблематичной» фотографией голого туземца. С семиотической точки зрения, он не продвинулся ни на дюйм; два изображения, лежащие бок о бок, просто показывают разных акторов и вещи. Фотографии Вулгара не удается хотя бы мало-мальски снять проблему расстояния. Это также означает, что исходное изображение ни в коей мере не является более наивным или менее рефлексивным, чем его фотография. Изображения равноправны, так как оба показывают вещи

1 Имеется в виду работа американского физика Дугласа Хофштадтера «Гедель, Эшер, Бах: бесконечное золотое плетение», посвященная тому, как системы, состоящие из бессмысленных элементов, порождают смысл с помощью самореференции и формальных правил. См. Hofstadter D. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Basic Books, 1999 [1979]. — *Примеч. ред.*

на расстоянии, и оба играют с этим расстоянием. Нет разницы между тем, чтобы показывать женщину, сажающую рис на плантации, и социолога, пишущего подпись к собственной фотографии. Первое не проще второго, а фраза «жили-были» не создает больше проблем, чем «это первое предложение рассказа». Сюрреалисты упивались фокусами вроде «ceci n'est pas une pipe»[1] и подобными апориями не потому, что они, как утверждалось, покончили со здравым смыслом, а потому что они полагали здравый смысл наивной верой. Если Вулгар прав, то «не преувеличивать экзотизм других» (см. настоящий сборник[2]) означает: мы должны избавиться от витков [рефлексивности] не потому, что они бесполезны, а потому что все остальные тоже ими пользуются.

Инфрарефлексивность

Метарефлексивность контрпродуктивна, поскольку делает тексты менее интересными, богатыми и правдоподобными; а ведь эти тексты и так уже, подобно всем прочим, страдают от тягомотности, бедности, спорности или скомпрометированности! Полагать, что социальные исследования науки могут извлечь пользу из этой формы рефлексивности, на мой взгляд, самоубийственная позиция, подобная (вопреки тому, что может сложиться обратное впечатление) старой идее, что социологический рассказ, полный статистических данных и верный методологическим обязательствам, может постоять за себя лучше, чем «простой» журналистский рассказ.

К счастью, есть другое направление, и оно позволяет сохранить необходимую рефлексивность, избежав беспомощного хождения по кругу в попытках превзойти и перехитрить друг друга доказательствами, что другой является наивным верующим. Я называю этот иной путь инфрарефлексивностью; вместо того чтобы писать о том, как (не) надо писать, он предлагает всего-навсего писать. «Всенавсего?» Не совсем. Рассмотрим подробно более здравую стратегию объяснения.

Дефляция методологии. Никакой объем методологии не способен приблизить текст к ситуации, о которой повествует, и потому никакое незнание деконструкции не способно от нее текст отдалить. Дерриде я предпочту «Нью-Йорк Таймс», выбирая же между Гарфинкелем и Мертоном, я не стану колебаться не больше минуты (и,

1 «Ceci n'est pas une pipe» (*франц.*) — это не трубка. Латур отсылает к названию картины бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. См. также: *Фуко М.* Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999. — *Примеч. перев.*

2 См. сноску 2 на стр. 131.

возможно, приобрел бы свежий номер «New Scientist», ниже изложено, почему). Если качество текста определяется, помимо степени метарефлексивности, многими критериями, почему бы вообще не устранить атрибутику методологических предостережений? Если метарефлексивность связана с инфляцией методов, то инфрарефлексивность характеризуется их *дефляцией*. Вместо того чтобы понапрасну громоздить один слой самосознания на другой, почему бы не оставить только один слой, одну историю, и не почерпнуть нужную рефлексивность где-то еще?

В конце концов журналисты, поэты и беллетристы — вовсе не наивные конструкторы выдумок. Они намного утонченнее и умнее самосознающих методологов. Им не понадобилось ждать постмодерных сочинений, чтобы рассказывать истории. У них столько же самосознания, сколь и у тех, кто наивно полагает, будто обладает *большим* самосознанием. Не говорить о необходимости принять меры предосторожности, чтобы реконструировать жизненный мир компетентного члена коллектива или сделать текст непригодным для потребления выдумок, а всего-навсего создавать жизненный мир и писать. Разве не этим занимались беллетристы на протяжении трех веков?

Методология вместо стиля. Требование особенно понятно, если главная проблема любого текста, как я утверждаю, состоит в том, что ему верят не слишком много, но *слишком мало*. Необходимо сделать средствами стиля то, на что лишь намекают методологические предостережения. (Любители самореференции с радостью отметят, что два последних абзаца противоречат друг другу: я рад доставить им это удовольствие.) Следует привлечь все имеющиеся литературные ресурсы, чтобы сделать рассказ живым, интересным, познавательным, наводящим на размышления и т. д.

Возможно, модель, предложенная английскими и французскими философами и учеными-естественниками XVIII века, лучше той, что предлагали немецкие и французские писатели XIX и XX веков. Использовать их ресурсы означает отказ от наивной мысли, что существуют постмодерн и модерн [Latour, 1988, part II]. Это означает отказ от взлелеянной в академических кругах мысли, что другие люди — до нас, в других местах или представители низших классов — верят и поступают несознательно. «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят».

Самоиллюстривание вместо самореференции. Гораздо проще достичь необходимой рефлексивности, если придерживаться самоиллюстрирующих принципов анализа. Это означает, что наш рассказ не требует для себя привилегий. Главное различие между мета- и инфрарефлексивностью — это верность определенным этическим, равно как методологическим или стилистическим обязательствам.

В глубине души (мета) рефлексивных писателей жива возможность достичь метаязыка, с позиции которого можно было бы дать оценку всем инфраязыкам. Их страсть к мета-метауровню, который бы осудил (или обезвредил) все другие, лучшее тому подтверждение. Редукционизм подобной позиции показывает, что рефлексивные писатели верят, будто возможен конечный уровень. Инфрарефлексивность идет вразрез с этим убеждением, не требуя привилегий для своего рассказа. Приводя примеры и иллюстрации, я рассказываю, как научная литература рискует тем, что ей не поверят, и от того стремится задействовать любых доступных союзников [Latour, 1987]. При этом я не требую для своего рассказа ничего, что бы выходило за рамки самого процесса рассказа. Мой текст в ваших руках, и будет ли он жить или умрет, зависит от того, что вы с ним сделаете. Пытаясь упредить одни последствия и поощрить другие, я тоже задействую всех доступных союзников, все лингвистические возможности (если бы только Богу или Мамоне было угодно, чтобы я писал на родном языке![1]).

Написание не-научных текстов. Каждый из нас использует свои критерии, чтобы оценить анализ науки в ее становлении. Марксисты, например, говорят, что нам нужна властная альтернативная теория, которая позволит полностью отвергнуть существующие науки; вот что для них означает рефлексивность. Метарефлексивисты говорят, что нам нужно прекратить говорить нечто о мире или о том, как говорят о мире науки. Всем нужны *особые слова, знаки* и жанры, чтобы решить, приемлем тот или иной анализ или нет (смотрите оговорку в конце этой статьи). Марксисты (и другие социологи) принимают результаты анализа примеров из практики, только если они предъявляют более общую систему координат, в которой они размещаются и которой в конечном счете детерминированы. Без *слов* «более общая система координат» (или их эквивалента) уверенные в своей правоте читатели считают, что анализ практического примера понимается неправильно, возможно, он даже опасен, поскольку заводит в «волчьи ямы эмпиризма» [Russell, 1986]. Рефлексивист вулгаровской конфессии полагает текст наивным, если он просто описывает жизнь в биологической лаборатории [Woolgar, 1982]. Если в рассказе не присутствует *персонаж* «автор, рассказывающий историю», текст становится опасно близок к тому, чтобы следовать проторенной тропой сциентизма. Подобные реакции подразумевают, что писатели очарованы присутствием или отсутствием определенных слов, которые служат инструментом оценки текстов. Они полагают,

1 Статья написана на английском языке, хотя родным для Латура является, конечно, французский. — *Примеч. ред.*

что, включив в текст таких персонажей, как «система координат» или «автор», удастся уберечь его от ужасной судьбы остаться всего-навсего историей, еще одной историей. Они хотят ограничить наш арсенал литературных приемов, потому что считают свои истории чем-то большим, чем просто истории. В сущности, они отвергают семиотический поворот[1].

То же пуританство очевидно в позициях столь непохожих друг на друга этнометодологов и деконструктивистов. Последние принимаются вопить всякий раз, когда текст всего-навсего рассказывает историю, ведь он может убедить читателя, что вымысел — это правда. Первые вопят, когда текст всего-навсего рассказывает историю о ком-то, потому что, представляя этих кого-то как «героев текста», мы предаем членов коллектива, которые несут за текст ответственность. Они хотят, чтобы их тексты избежали ужасной судьбы стать всего лишь еще одной историей об отсутствующих вещах. Они тоже отвергают семиотический поворот.

Все тексты должны решить проблему, как быть с отсутствующими элементами (сколь различными бы не были причины их отсутствия). Иными словами, как написать в ситуации А о ситуации В. Текст в большинстве случаев пытается установить надежные двусторонние соединения между А и В и произвести (или воспроизвести) в А как можно больше элементов В. Это делается для того, чтобы как можно скорее забыть о том, что происходит в В; для всех практических целей В сейчас находится «в А». Чтобы противодействовать сциентистскому способу делегировать воспроизведенные элементы и предать забвению расстояние, существует другое решение. Оно состоит в том, чтобы *прервать* двустороннее соединение. Текст становится неудобочитаемым. Это решение может быть осуществлено как в А, так и в В. Феноменологи и этнометодологи решают проблему отсутствия и пытаются остаться в ситуации В. Деконструктивисты и рефлексивисты пытаются решить проблему присутствия, оставаясь в А и ничего не говоря ни о чем.

1 Под семиотическим поворотом, к адептам которого Латур себя причисляет, имеется в виду применение инструментария французской семиотики для анализа самых разнообразных текстов, в том числе научных. В числе других ученых, которых относят к семиотическому повороту, следует упомянуть Донну Харауэй, Джона Ло, а также Паоло Фаббри и Франсуазу Бастид, сыгравших значительную роль в становлении латуровского семиотического метода. Расширительное понимание семиотики позволяет, в частности, Латуру приписывать агентность не только людям, но и животным, концептам, предметам и т. д., предложить решение проблемы контекста и референта научного текста. — *Примеч. ред.*

Ирония кроется в следующем наблюдении. Каждое из трех решений подразумевает, что следует *постоянно обслуживать, наблюдать и поддерживать* всю сеть целиком. Вне зависимости от того насколько вы научны, необходимо постоянно двигаться между А и В, от познающего к познаваемому, всегда опасаясь разрыва, измены или ошибки. Неважно, насколько вы этнометодологичны, вы пишете книги в ситуации А о математиках [Livingston, 1986] или о биологах [Lynch, 1985] в ситуации В, но это не книги по математике или биологии. Как бы вы ни были изощрены в письме ни о чем, читатели по-прежнему допускают, что вы, по крайней мере, высказываете нечто о деконструкции. Я говорю это не для того, чтобы высмеять или указать в духе рефлексивистов на самопротиворечивость подобных попыток. Главное — все они делают работу друг друга. Если все курсируют между А и В, озабочены тем, как установить (или не устанавливать) связи, как воспроизвести (или не воспроизвести) одну ситуацию в другой, то почему бы не принять эту деятельность за нашу цель: предъявить познающего, познаваемое и работу, необходимую, чтобы разорвать или создать связи между А и В? Я называю это *не-научным* способом изучения как естественных, так и социальных наук. Я также полагаю, что это возможное определение инфрарефлексивности.

Благодаря такой позиции мы получаем куда больше *признаков* хорошей истории, чем предлагают рефлексивисты. Раз никакой объем рефлексивности, методологии, деконструкции, серьезности или статистики не превратит наши истории в не-истории, для нашей исследовательской области нет никаких оснований имитировать жанры, которые в последнее время добились гегемонии. К суконным языкам, наработанным в академических журналах, нам следует добавить множество жанров и нарративных стилей, изобретенных беллетристами, журналистами, художниками, карикатуристами, учеными и философами. Рефлексивный характер нашей сферы в будущем узнают по разнообразию стилей, а не по громоздкому присутствию так называемых рефлексивных витков. Как сказал председатель Мао: «Пусть расцветают сто цветов...» (хотя потом он их обрезал).

На стороне познаваемого. Рефлексивисты тратят массу энергии на стороне познающего и почти ничего — на стороне познаваемого. Они думают, что всякая попытка постичь вещи сами по себе служит признаком наивного эмпиризма. Даже рефлексивисты из Йоркшира требуют использовать литературные инструменты в социальных науках [Ashmore, 1985; Mulkay, 1985], но только для того, чтобы продемонстрировать рефлексивные притязания, а не за тем, чтобы говорить *о* чем-то. Говорить «о чем-то» — проклятие для каждого из них. Этот ужас, страх осквернения эмпиризмом смешон, потому что является

точной инверсией эмпиризма. Все они думают, что объекты, вещи-в-себе находятся вне досягаемости. Как если бы всякий доступ к миру был навсегда в руках эмпирицистской программы. Как если бы мир, в котором мы живем, был собственностью сциентистских рассказов о науке. Рефлексивисты целиком и полностью подписываются под сциентистской повесткой, когда верят, что из эмпиризма нет другого выхода, кроме языка, слов и самореференции. Это подспудное кантианство излишне. Есть другой путь: путь мира, а не слова.

Изумительно «нерефлексивная» — «чисто» журналистская — трактовка Трейси Киддером [Kidder, 1981] создания компьютера Eagle говорит нам о рефлексивности больше, чем все трюки Хофштадтера, потому что *сам* компьютер, да и *вещь* сама по себе, оказывается рефлексивным, чувствующим, историческим событием. Рассказ Мишеля Каллона [Callon, 1986] о суровой жизни морских гребешков в глубинах бухты Сен-Брие в Бретани совершенно нерефлексивен. Он говорит о морских гребешках, рыбаках и ученых, а не о социальных ученых и самореференции. Однако те ли это гребешки, которые фигурируют в баталиях океанографов? Нет. Не в большей степени, чем компьютер Киддера похож на черные ящики в компьютерных магазинах. Являются ли эти объекты такими, какими их хотел бы видеть эмпирицист? Нисколько. Они — свободные активные и антропологические *проекты*, полные жизни и готовые занять свое место в драматичной истории. Я утверждаю, что в одном рассказе, который делает мир живым, рефлексивности больше, чем в сотне витков самореференции, возвращающих на сцену скучный мыслящий разум. Мишель Серр [Serres, 1983] следовал программе инфрарефлексивности, которая выталкивает познающего за кулисы. Долой Канта! Долой критику! Вернемся в мир, все еще непознанный и презираемый. Если вы усмехнетесь со словами «это возврат к реализму», да — это так. Небольшая доза релятивизма уводит от реализма; большая — возвращает.

Одноразовые объяснения. Вера в существование системы координат, внутри которой в целях объяснения помещаются события, является отличительным признаком не-рефлексивных социальных наук. Это основа *осуждения* (denunciation), позволяющего социальным ученым возлагать ответственность, обвинять, разоблачать, раскрывать или доказывать невиновность [Boltanski, 1984]. Никому не следует делать из этого вывод, что рефлексивные исследования науки должны хранить молчание или ограничиваться анализом примеров из практики (или нарративными жанрами, присущими историкам). У акторов есть характерная способность связывать воедино множество гетерогенных элементов. У них есть стойкие представления о том, что такое система координат, кто несет ответственность, что считать объяснением и кто невиновен. Избавившись от универсальной

системы координат, мы не возвращаемся обратно на микроуровень; мы попадаем в мир, где акторы имеют лишь *относительный* размер и упорно борются за то, чтобы изменить размер всех остальных [Callon, Latour, 1981]. Для этого им требуется рекрутировать как можно большее количество гетерогенных союзников.

Стилистическое решение состоит в том, что мы должны писать истории, которые не исходят из системы координат, но в конце приходят к локальным и временным изменениям масштаба. Подобные истории утверждают новую взаимосвязь между историческими подробностями и общей картиной. Поскольку первые составляют вторую, читатель всегда хочет, чтобы *подробностей было больше*, а не меньше, и никогда не откажется от подробностей в пользу постижения общей тенденции. Это также означает, что истории, игнорирующие причину и следствие, ответственность и обвинения, будут непригодными для обычного режима обвинения, разъяснения и разоблачения. Наш способ быть рефлексивным будет состоять в том, чтобы сделать наши тексты непригодными для убийственной гонки доказательств, кто прав. Парадокс в том, что мы всегда будем искать слабые объяснения, а не сильные и универсальные.

Всякий раз, когда мы имеем дело с новой темой, новой областью, новым предметом, объяснение должно быть совершенно другим. Вместо того чтобы объяснять все при помощи одних и тех же причин и систем координат, вместо того, чтобы воздерживаться от объяснения в страхе разрушить игру в рефлексию, мы предложим уникальное (one-off) объяснение, используя сшитую на заказ причину. Я сторонник одноразовых (throw-away) причин и уникальных объяснений[1].

Скрещивание вместо метаязыка. Еще один способ продемонстрировать инфрарефлексивность заключается в том, чтобы избегать создания метаязыка. Если идеал объяснения, как я показал в начале работы, состоит в том, чтобы отнести вещь, которую следует объяснить, при помощи нового рассказа к какой-либо категории, то именно от этой категоризации мы, социальные исследователи науки,

1 Сформулированное здесь политическое кредо — уникальные причины, одноразовые объяснения, сшитые на заказ методы — является важной (хотя и нередко упускаемой комментаторами из виду) частью методологии Латура, лежащей в основе его последующих исследований. См.: *Latour B.* Aramis, or the Love of Technology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. P. 131, 132*; Latour B.* Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. P. 7*; Crease R., Ihde D. et al* Interview with Bruno Latour // Chasing Technoscience: Matrix for Materiality/D. Ihde, E. Selinger (eds). Bloomington: Indiana University Press, 2003. P. 19, 20. — *Примеч. перев.*

должны воздержаться. Абсурдно разработать метаязык, состоящий, скажем, из двухсот особых слов, а затем проверить, может ли такой словарь заменить сотни тысяч терминов и практик изучаемых наук. И худшим результатом было бы преуспеть в этой мелочной игре, подменяя, таким образом, богатую работу естественных наук скучной зубрежкой арсенала социологов. Линч [Lynch, 1985] снабдил нас решающей критикой такого стремления.

Он утверждает, что нет смысла практиковать социологию, которая отличается от технической работы самих ученых. У них уже есть своя социология. Наша работа — извлечь ее. К сожалению, Линчу не удалось предложить простого решения проблемы — он все еще смущен тем, что Гарфинкель безнадежно не приемлет семиотический поворот. Одна из возможных формулировок чудесной догадки Линча состоит в том, что мы стремимся к *равноправию* с дисциплиной, которую изучаем. Вместо того чтобы объяснять ее, мы хотим *скреститься* (cross-over) с ней, как это происходит в генетике. Мы хотим учиться у ученых нашей социологии и научить ученых их собственной науке с помощью нашей социологии. Программа кажется амбициозной, даже самонадеянной, но на деле она означает равный статус для тех, кто объясняет, и тех, кого объясняют. Это политика равных возможностей, распространенная на социальные науки. Они долго страдали от дискриминации, но им не следует мечтать о несбыточной мести, стремясь *господствовать* над науками посредством метаязыка.

Гибридизация вместо дисциплинарных границ. Работу по выполнению объяснения можно продемонстрировать, только если демонстрация не ограничена одним местом действия. Если работа в нашей профессиональной области ведет к созданию специальной, обособленной области научного знания — определенной в таком качестве в учебном плане — это означает, что вся наша работа оказалась по определению нерефлексивна. Критерий нашей рефлексивности — способность распространить свою работу по сетям. Это можно достичь в соавторстве с учеными (дабы упразднить металингвистическую позицию наблюдателей, наблюдающих за наблюдателями), а также размыванием разницы между изучением науки и производством других наук (показывая, таким образом, как можно на практике бросить вызов гегемонии).

Для этого требуется способность выйти за пределы академических кругов и связать работу с множеством современных попыток противостоять тому, чтобы быть познанным, объясненным, исследованным, мобилизованным или воспроизведенным. Шибболет[1]

1 «Шибболет» в буквальном переводе с иврита — «колос» или «водяной поток». В переносном же смысле это слово означает своего рода пароль, по которому

рефлексивности не в том, «включили ли вы автора в свое исследование?», а в том: «Можете ли вы сдержать обещание не оставаться внутри академических границ?». О нашей области в конечном итоге будут судить по способности изобрести техническую и научную демократию, показав, как можно изменить связь между представителем и представляемым. Чтобы предложить альтернативную стратегию объяснения, необходимо определиться с новой политикой.

Заключение

Я очень коротко обрисовал политику объяснения. Я отвел от нас адресованную — рационалистами — бесхитростную критику, состоящую в том, что она самопротиворечива. Затем я взялся за значимую проблему, сформулированную такими рефлексивными писателями, как Вулгар: мы не можем невинно развивать очередную социальную науку. Они верно распознали важность проблемы, но предложенное решение, метарефлексивность, слишком ограничено и бесплодно. Я высказался в пользу альтернативы, инфрарефлексивности, и набросал некоторые из ее возможных определений.

Рефлексивная тенденция неизбежна: иначе наша профессиональная область в самом деле будет самопротиворечивой не в смысле, озвученном рационалистами, которые пытаются от нас избавиться, а в нашем собственном смысле. Худшим выходом было бы избавиться от самих себя, имитируя науки, и пытаться предложить более сильные объяснения их развития. Если предложенная альтернатива — поиск не-научных и более слабых объяснений — обескураживает, давайте вспомним, что науки, как и мы, молоды и все еще впереди — при условии, что красноречие какого-нибудь звездного воина[1] не положит всему конец.

можно отличить носителя языка от того, для кого этот язык неродной. — *Примеч. перев.*

1 Латур имеет в виду «Стратегическую оборонную инициативу» — научно-исследовательскую программу объявленную президентом США Рональдом Рейганом в 1983 г., которую медиа окрестили программой «Звездных войн». Задачей программы было завоевание господства в космосе и создание элементов противоракетной обороны в космосе. Агрессивная риторика «Звездных войн» поспособствовала новому витку гонки вооружений и вызвала у широкой публики новые опасения относительно возможности ядерной войны. Этот же мотив также появляется в самом конце научно-политическом трактата Латура «Ирредукции»: «Если крылатые ракеты настигают меня в винограднике, то я не хочу преклоняться перед „разумом“, «ошибающейся физикой», «людской глупостью», «жестокостью Бога» или Realpolitik. Я не хочу обращаться к кое-как сделанным объяснениям, говорящим о могуществе, когда причина моей смерти кроется в силе фактов»

Оговорка

Этот текст не является собственной иллюстрацией. Мой проницательный рецензент попросил объяснить, почему. У меня нет другого ответа, кроме: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение» (Мк 8:12).

Примечание

Вариант этой статьи был озвучен в Колледже Баллиоль в Оксфорде в июне 1986 г. (на семинаре С. Льюкса и У. Ньютона-Смита по теме «Объяснение в социальных науках»). Я благодарю двух выдающихся рефлексивистов, которые беспристрастно скорректировали мой английский язык, а не мои аргументы.

Перевод с английского языка Андрея Кузнецова[1]
Под редакцией Ивана Напреенко

Библиография

1. *Ashmore M. A Question of Reflexivity: Wrighting Sociology of Scientific Knowledge. DPh. Thesis. University of York, 1985.*
2. *Bastide F. Introduction to Semiotics. Centre de Sociologie de l'Innovation, Ecole des Mines, Paris, 1985 (unpublished).*
3. *Boltanski L. La Denonciation // Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 1984. V. 51. P. 3–40.*
4. *Braudel F. The Perspective of the World: 15th to 18th Century. N. Y.: Harper and Row, 1985.*
5. *Callon M. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc's Bay, Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge? // Sociological Review Monograph. University of Keele. London: Routledge and Kegan Paul. 1986. No. 32.*
6. *Callon M., Latour B. Unscrewing the Big Leviathan: How Actors Macrostracture Reality and How Sociologists Help Them // Advances in Social Theory and Methodology: Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies/K. D. Knorr-Cetina, A. Cicourel (eds). London: Routledge and Kegan Paul, 1981, p. 277–303.*

(*Latour B.* Irreductions // Latour B. The Pasteurization of France. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1988. P. 158–175.) — *Примеч. перев.*

1 Если социология Латура чему-то учит, то, прежде всего, тому, что всякий актор, как правило, является коллективом и в данном случае переводчик — не исключение. Андрей Кузнецов благодарит Екатерину Дмитриеву, которая, будучи профессиональным лингвистом, выступила первым взыскательным читателем этого перевода и своими точными замечаниями и советами помогла сделать его лучше.

7. *Callon M., Law J., Rip A. Mapping the Dynamics of Science. London: Macmillan, 1986.*
8. *Girard R. Des Choses Cachies Depuis La Fondation Du Monde. Paris: Grasset, 1978.*
9. *Greimas A. J., Courtes J. Semiotics and Language. Analytical Dictionary. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1983.*
10. *Hollis M., Lukes S. Rationality and Relativism. Oxford: Basil Blackwell, 1982.*
11. *Hughes T. P. Networks of Power: Electric Supply Systems in the US, England and Germany, 1880–1930. Baltimore: Johns Hopkins University, 1983.*
12. *Kidder T. The Soul of a New Machine. London: Allen Lane, 1981.*
13. *Latour B. Les Raisons Profondes du Style Repetitif de Peguy // Peguy Ecrivain, Colloque de Centenaire. Paris: Klinsieck, 1975.*
14. *Latour B. Visualisation and Cognition // Knowledge and Society. Studies in the Sociology of Culture Past and Present. Greenwich, CT: Jai Press, 1986.*
15. *Latour B. Science in Action. Milton Keynes: Open University Press, 1987.*
16. *Latour B. The Pasteurization of France Followed by Irreductions: a Politico-Scientific Essay. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.*
17. *Latour B., de Noblet J. Les Vues de L'Esprit: Visualisation et Connaissance Scientifique. Culture Technique, 1985.*
18. *Lawson H. Reflexivity: the Post-Modern Predicament. London: Hutchinson, 1985.*
19. *Livingston E. The Ethnomethodological Foundation of Mathematics. London: Routledge and Kegan Paul, 1986.*
20. *Lynch M. Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in a Research Laboratory. London: Routledge and Kegan Paul, 1985.*
21. *Mulkay M. J. The Word and the World: Explorations in the Form of Sociological Analysis. London: George Allen and Unwin, 1985.*
22. *Peguy C. Clio: Dialogues de l'Ame Paienne et de l'Ame Charnelle. Paris: Pleiade, 1914.*
23. *Prigogine I., Stengers I. La Nouvelle Alliance: Metamorphose De La Science. Paris: Gallimard, 1979.*
24. *Russell S. The Social Construction of Artifacts // Social Studies of Science. 1986. No. 16. P. 331.*
25. *Serres M. Hermes. Literature Science Philosophy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983.*
26. *Shapin S., Schaffer S. Leviathan and the Air Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.*
27. *Woolgar S. Laboratory Studies: a Comment on the State of the Art // Social Studies of Science. 1982. No. 12. P. 481–498.*
28. *Woolgar S. Irony in the Social Study of Science // Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science/K. D. Knorr-Cetina, M. J. Mulkay (eds). London: Sage, 1983.*
29. *Woolgar S. Reflexivity is the Ethnographer of the Text // Knowledge and Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Knowledge. London: Sage, 1988.*